

Альберт

I

Пять человек богатых и молодых людей приехали в третьем часу ночи веселиться на петербургский балик.

Шампанского было выпито много, большая часть господ были очень молоды, девицы были красивы, фортепьяно и скрипка неумолимо играли одну польку за другою, танцы и шум не переставали; но было как-то скучно, неловко, каждому казалось почему-то (как это часто случается), что все это не то и ненужно.

Несколько раз они усиливались поднять веселье, но притворное веселье было еще хуже скуки.

Один из пяти молодых людей, более других недовольный и собой, и другими, и всем вечером, с чувством отвращения встал, отыскал шляпу и вышел с намерением потихоньку уехать.

В передней никого не было, но в соседней комнате, за дверью, он услышал два голоса, спорившие между собою. Молодой человек приостановился и стал слушать.

– Нельзя, там гости, – говорил женский голос.

– Пустите, пожалуйста, я ничего! – умолял слабый мужской голос.

– Да уж не пушу без позволения мадамы, – говорила женщина, – куда вы? ах какой!..

Дверь распахнулась, и на пороге показалась странная мужская фигура. Увидав гостя, служанка перестала удерживать, а странная фигура, робко поклонившись, шатаясь на согнутых ногах, вошла в комнату. Это был среднего роста мужчина, с узкой согнутой спиной и длинными всклокоченными волосами. На нем были короткое пальто и прорванные узкие панталоны над шершавыми, нечищеными сапогами. Скрутившийся веревкой галстук повязывал длинную белую шею. Грязная рубаша высывалась из рукавов над худыми руками. Но, несмотря на чрезвычайную худобу тела, лицо его было нежно, бело, и даже свежий румянец играл на щеках, над черной редкой бородой и бакенбардами. Нечесанные волосы, закинутые вверх, открывали невысокий и чрезвычайно чистый лоб. Темные усталые глаза смотрели вперед мягко, искательно и вместе важно. Выражение их пленительно сливалось с выражением свежих, изогнутых в углах губ, видневшихся из-за редких усов.

Пройдя несколько шагов, он приостановился, повернулся к молодому человеку и улыбнулся. Он улыбнулся как будто с трудом; но когда улыбка озарила его лицо, молодой человек – сам не зная чему – улыбнулся тоже.

– Кто это такой? – спросил он шепотом у служанки, когда странная фигура прошла в комнату, из которой слышались танцы.

– Помешанный музыкант из театра, – отвечала служанка, – он иногда приходит к хозяйке.

– Куда ты ушел, Делесов? – кричали в это время из залы.

Молодой человек, которого звали Делесовым, вернулся в залу.

Музыкант стоял у двери и, глядя на танцующих, улыбкой, взглядом и притоптыванием ног выказывал удовольствие, доставляемое ему этим зрелищем.

– Что же, идите и вы танцевать, – сказал ему один из гостей.

Музыкант поклонился и вопросительно взглянул на хозяйку.

– Идите, идите, – что ж, когда вас господа приглашают, – вмешалась хозяйка.

Худые, слабые члены музыканта вдруг пришли в усиленное движение, и он, подмигивая, улыбаясь и подергиваясь, тяжело, неловко пошел прыгать по зале. В середине кадрили веселый офицер, танцевавший очень красиво и одушевленно, нечаянно толкнул спиной музыканта. Слабые, усталые ноги не удержали равновесия, и музыкант, сделав несколько подкашивающихся шагов в сторону, со всего росту упал на пол. Несмотря на резкий, сухой звук, произведенный падением, почти все засмеялись в первую минуту.

Но музыкант не вставал. Гости замолчали, даже фортепьяно перестало играть, и Делесов с хозяйкой первые подбежали к упавшему. Он лежал на локте и тускло смотрел в землю. Когда его подняли и посадили на стул, он откинул быстрым движением костлявой руки волосы со лба и стал улыбаться, ничего не отвечая на вопросы.

– Господин Альберт! господин Альберт! – говорила хозяйка, – что, ушиблись? где? Вот я говорила, что не надо было танцевать. Он такой слабый! – продолжала она, обращаясь к гостям, – насилию ходит, где ему!

– Кто он такой? – спрашивали хозяйку.

– Бедный человек, артист. Очень хороший малый, только жалкий, как видите.

Она говорила это, не стесняясь присутствием музыканта. Музыкант очнулся и, как будто испугавшись чего-то, съезжился и оттолкнул окружавших его.

– Это все ничего, – вдруг сказал он, с видимым усилием вставая со стула.

И, чтобы доказать, что ему нисколько не больно, вышел на середину комнаты и хотел припрыгнуть, но пошатнулся и опять бы упал, ежели бы его не поддержали.

Всем сделалось неловко; глядя на него, все молчали.

Взгляд музыканта снова потух, и он, видимо, забыв о всех, потирал рукою колено. Вдруг он поднял голову, выставил вперед дрожащую ногу, тем же, как и прежде, пошлым жестом откинул волосы и, подойдя к скрипачу, взял у него скрипку.

– Все ничего! – повторил он еще раз, взмахнув скрипкой. – Господа! будем музицировать.

– Что за странное лицо! – говорили между собой гости.

– Может быть, большой талант погибает в этом несчастном существе! – сказал один из гостей.

– Да, жалкий, жалкий! – говорил другой.

– Какое лицо прекрасное!.. В нем есть что-то необыкновенное, – говорил Делесов, – вот посмотрим...

II

Альберт в это время, не обращая ни на кого внимания, прижав скрипку к плечу, медленно ходил вдоль фортепьяно и настраивал ее. Губы его сложились в бесстрастное выражение, глаз не было видно; но узкая костлявая спина, длинная белая шея, кривые ноги и косматая черная голова представляли чудное, но почему-то вовсе не смешное зрелище. Настроив скрипку, он бойко взял аккорд и, вскинув голову, обратился к пьянисту, приготовившемуся аккомпанировать.

– «Melancholie C-dur!» – сказал он, с повелительным жестом обращаясь к пьянисту.

И вслед за тем, как бы прося прощения за повелительный жест, кротко улыбнулся и с этой улыбкой оглянул публику. Вскинув волосы рукой, которой он держал смычок, Альберт остановился перед углом фортепьяно и плавным движением смычка провел по струнам. В комнате пронесся чистый, стройный звук, и сделалось совершенное молчание.

Звуки темы свободно, изящно полились вслед за первым, каким-то неожиданно-ясным и успокоительным светом вдруг озаряя внутренний мир каждого слушателя. Ни один ложный или неумеренный звук не нарушил покорности внимающих, все звуки были ясны, изящны и значительны. Все молча, с трепетом надежды, следили за развитием их. Из состояния скуки, шумного рассеяния и душевного сна, в котором находились эти люди, они вдруг незаметно перенесены были в совершенно другой, забытый ими мир. То в душе их возникало чувство тихого созерцания прошедшего, то страстного воспоминания чего-то счастливого, то безграничной потребности власти и блеска, то чувства покорности, неудовлетворенной любви и грусти. То грустно-нежные, то порывисто-отчаянные звуки, свободно перемешиваясь между собой, лились и лились друг за другом так изящно, так сильно и так бессознательно, что не звуки слышны были, а сам собой лился в душу каждого какой-то прекрасный поток давно знакомой, но в первый раз высказанной поэзии. Альберт с каждой нотой вырастал выше и выше. Он далеко не был уродлив или странен. Прижав подбородком скрипку и с выражением страстного внимания прислушиваясь к своим звукам, он судорожно передвигал ногами. То он выпрямлялся во весь рост, то старательно сгибал спину. Левая напряженно-согнутая рука, казалось, замерла в своем положении и только судорожно перебирала костлявыми пальцами; правая двигалась плавно, изящно, незаметно. Лицо сияло непрерывной, восторженной радостью; глаза горели светлым сухим блеском, ноздри раздувались, красные губы раскрывались от наслаждения.

Иногда голова ближе наклонялась к скрипке, глаза закрывались, и полузакрытое волосами лицо освещалось улыбкой кроткого блаженства. Иногда он быстро выпрямлялся, выставлял ногу; и чистый лоб, и блестящий взгляд, которым он окидывал комнату, сияли гордостью, величием, сознанием власти. Один раз пьянист ошибся и взял неверный аккорд. Физическое страдание выразилось во всей фигуре и лице музыканта. Он остановился на секунду и, с выражением детской злобы топая ногой, закричал: «Moi, c-moi!» Пьянист поправился, Альберт закрыл глаза, улыбнулся и, снова забыв себя, других и весь мир, с блаженством отдался своему долгу.

Все находившиеся в комнате во время игры Альберта хранили покорное молчание и, казалось, жили и дышали только его звуками.

Веселый офицер неподвижно сидел на стуле у окна, устремив на пол безжизненный взгляд, и тяжело и редко переводил дыхание. Девушки в совершенном молчании сидели по стенам и только изредка с одобрением, доходящим до недоумения, переглядывались между собою. Толстое, улыбающееся лицо хозяйки расплывалось от наслаждения. Пьянист впивался глазами в лицо Альберта и, со страхом ошибиться, выражавшимся во всей его вытягивавшейся фигуре, старался следить за ним. Один из гостей, выпивший больше других, ничком лежал на диване и старался не двигаться, чтобы не выдать своего волнения. Делесов испытывал непривычное чувство. Какой-то холодный круг, то суживаясь, то расширяясь сжимал его голову. Корни волос становились чувствительны, мороз пробежал вверх по спине, что-то, все выше и выше подступая к горлу, как тоненькими иголками кололо в носу и

нёбе, и слезы незаметно мочили ему щеки. Он встряхивался, старался незаметно втягивать их назад и отирать, но новые выступали опять и текли по его лицу. По какому-то странному сцеплению впечатлений первые звуки скрипки Альберта перенесли Делесова к его первой молодости. Он – немолодой, усталый от жизни, изнуренный человек, вдруг почувствовал себя семнадцатилетним, самодовольно-красивым, блаженно-глупым и бессознательно-счастливым существом. Ему вспомнилась первая любовь к кузине в розовом платье, вспомнилось первое признание в липовой аллее, вспомнился жар и непонятная прелесть случайного поцелуя, вспомнилось волшебство и неразгаданная таинственность тогда окружавшей природы. В его возвратившемся назад воображении блистала она в тумане неопределенных надежд, непонятных желаний и несомненной веры в возможность невозможного счастья. Все неоцененные минуты того времени одна за другою восставали перед ним, но не как незначашие мгновения бегущего настоящего, а как остановившиеся, разрастающиеся и укоряющие образы прошедшего. Он с наслаждением созерцал их и плакал, – плакал не оттого, что прошло то время, которое он мог употребить лучше (ежели бы ему дали назад это время, он не брался употребить его лучше), но он плакал оттого только, что прошло это время и никогда не воротится. Воспоминания возникали сами собою, а скрипка Альберта говорила одно и одно. Она говорила: «Прошло для тебя, навсегда прошло время силы, любви и счастья, прошло и никогда не воротится. Плачь о нем, выплачь все слезы, умри в слезах об этом времени, – это одно лучшее счастье, которое осталось у тебя».

К концу последней варьации лицо Альберта сделалось красно, глаза горели не потухая, крупные капли пота струились по щекам. На лбу надулись жилы, все тело больше и больше приходило в движение, побледневшие губы уже не закрывались, и вся фигура выражала восторженную жадность наслаждения.

Отчаянно размахнувшись всем телом и встряхнув волосами, он опустил скрипку и с улыбкой гордого величия и счастья оглянул присутствующих. Потом спина его согнулась, голова опустилась, губы сложились, глаза потухли, и он, как бы стыдясь себя, робко оглядываясь и путаясь ногами, прошел в другую комнату.

III

Что-то странное произошло со всеми присутствующими, и что-то странное чувствовалось в мертвом молчании, следовавшем за игрой Альберта. Как будто каждый хотел и не умел высказать того, что все это значило. Что такое значит – светлая и жаркая комната, блестящие женщины, заря в окнах, взволнованная кровь и чистое впечатление пролетевших звуков? Но никто и не попытался сказать того, что это значит; напротив, почти все, чувствуя себя не в силах перейти вполне на сторону того, что открыло им новое впечатление, возмутились против него.

– А ведь он, точно, хорошо играет, – сказал офицер.

– Удивительно! – отвечал, украдкой рукавом отирая щеки, Делесов.

– Однако пора ехать, господа, – сказал, оправившись несколько, тот, который лежал на диване. – Надо будет дать ему что-нибудь, господа. Давайте складчину.

Альберт сидел в это время один в другой комнате на диване. Облокотившись локтями на костлявые колени, он потными, грязными руками гладил себе лицо, взбивал волосы и сам с собою счастливо улыбался.

Складчину сделали богатую, и Делесов взялся передать ее.

Кроме того, Делесову, на которого музыка произвела такое сильное и непривычное впечатление, пришла мысль сделать добро этому человеку. Ему пришлось в голову взять его к себе, одеть, пристроить к какому-нибудь месту – вообще вырвать из этого грязного положения.

– Что, вы устали? – спросил Делесов, подходя к нему.

Альберт улыбался.

– У вас действительный талант; вам надо бы серьезно заниматься музыкой, играть в публице.

– Я бы выпил чего-нибудь, – сказал Альберт, как будто проснувшись.

Делесов принес вина, и музыкант с жадностью выпил два стакана.

– Какое славное вино! – сказал он.

– «Меланхолия», какая прелестная вещь! – сказал Делесов.

– О! да, да, – отвечал, улыбаясь, Альберт, – но извините меня, я не знаю, с кем имею честь говорить; может быть, вы граф или князь: не можете ли вы мне ссудить немного денег? – Он помолчал немного. – Я ничего не имею... я бедный человек. Я не могу отдать вам.

Делесов покраснел, ему неловко стало, и он торопливо передал музыканту собранные деньги.

– Очень благодарю вас, – сказал Альберт, схватив деньги. – Теперь давайте музицировать; я сколько хотите буду играть вам. Только выпить бы чего-нибудь, выпить, – прибавил он, вставая.

Делесов принес ему еще вина и попросил сесть подле себя.

– Извините меня, ежели я буду откровенен с вами, – сказал Делесов, – ваш талант так заинтересовал меня. Мне кажется, что вы не в хорошем положении?

Альберт поглядывал то на Делесова, то на хозяйку, которая вошла в комнату.

– Позвольте мне вам предложить свои услуги, – продолжал Делесов, – ежели вы в чем-нибудь нуждаетесь, то я бы очень рад был, ежели бы вы на время поселились у меня. Я живу один, и, может быть, я был бы вам полезен.

Альберт улыбнулся и ничего не отвечал.

– Что же вы не благодарите, – сказала хозяйка, – разумеется, для вас это благодеяние. Только я бы вам не советовала, – продолжала она, обращаясь к Делесову и отрицательно качая головой.

– Очень вам благодарен, – сказал Альберт, мокрыми руками пожимая руку Делесова, – только тепер давайте музицировать, пожалуйста.

Но остальные гости уже собрались ехать и, как их ни уговаривал Альберт, вышли в переднюю.

Альберт простился с хозяйкой и, надев истертую шляпу с широкими полями и летнюю старую альмавиву, составлявшие всю его зимнюю одежду, вместе с Делесовым вышел на крыльцо.

Когда Делесов сел с своим новым знакомцем в карету и почувствовал тот неприятный запах пьяницы и нечистоты, которым был пропитан музыкант, он стал раскаиваться в своем поступке и обвинять себя в ребяческой мягкости сердца и нерассудительности. Притом все, что говорил Альберт, было так глупо и пошло, и он так вдруг грязно опьянел на воздухе, что Делесову сделалось гадко. «Что я с ним буду делать?» – подумал он.

Проехав с четверть часа, Альберт замолк, шляпа с него свалилась в ноги, он сам повалился в угол кареты и захрапел. Колеса равномерно скрипели по морозному снегу; слабый свет зари едва проникал сквозь замерзшие окна.

Делесов оглянулся на своего соседа. Длинное тело, прикрытое плащом, безжизненно лежало подле него. Делесову казалось, что длинная голова с большим темным носом качалась на этом туловище; но, взглядевшись ближе, он увидел, что то, что он принимал за нос и лицо, были волосы, а что настоящее лицо было ниже. Он нагнулся и разобрал черты лица Альберта. Тогда красота лба и спокойно сложенного рта снова поразили его.

Под влиянием усталости нерв, раздражающего бессонного часа утра и слышанной музыки Делесов, глядя на это лицо, снова перенесся в тот блаженный мир, в который он заглянул нынче ночью; снова ему вспомнилось счастливое и великодушное время молодости, и он перестал раскаиваться в своем поступке. Он в эту минуту искренно, горячо любил Альберта и твердо решил сделать добро ему.

IV

На другой день утром, когда его разбудили, чтобы идти на службу, Делесов с неприятным удивлением увидел вокруг себя свои старые ширмы, своего старого человека и часы на столике. «Так что же бы я хотел видеть, как не то, что всегда окружает меня?» – спросил он сам себя. Тут ему вспомнились черные глаза и счастливая улыбка музыканта; мотив «Меланхолии» и вся странная вчерашняя ночь пронесли в его воображении.

Ему некогда было, однако, размышлять о том, хорошо или дурно он поступил, взяв к себе музыканта. Одеваясь, он мысленно распределил свой день: взял бумаги, отдал необходимые приказания дома и торопясь надел шинель и калоши. Проходя мимо столовой, он заглянул в дверь. Альберт, уткнув лицо в подушку и раскидавшись, в грязной, изорванной рубахе, мертвым сном спал на сафьянном диване, куда его, бесчувственного, положили вчера вечером. Что-то не хорошо – невольно казалось Делесову.

– Сходи, пожалуйста, от меня к Борюзовскому, попроси скрипку дня на два для них, – сказал он своему человеку, – да когда они проснутся, напой их кофеем и дай надеть из моего белья и старого платья что-нибудь. Вообще удовлетвори его хорошенько. Пожалуйста.

Возвратившись домой поздно вечером, Делесов, к удивлению своему, не нашел Альберта.

– Где же он? – спросил он у человека.

– Тотчас после обеда ушли, – отвечал слуга, – взяли скрипку и ушли, обещались прийти через час, да вот до сей поры нету.

– Та! та! досадно, – проговорил Делесов. – Как же ты егопустил, Захар?

Захар был петербургский лакей, уже восемь лет служивший у Делесова. Делесов, как одинокий холостяк, невольно поверял ему свои намерения и любил знать его мнение насчет каждого из своих предприятий.

– Как же я смел его не пустить, – отвечал Захар, играя печаткой своих часов, – ежели бы вы мне сказали, Дмитрий Иванович, чтобы его удерживать, я бы дома мог занять. Но вы только насчет платья сказали.

– Та! досадно! Ну, а что он тут делал без меня?

Захар усмехнулся.

– Уж точно, можно назвать артистом, Дмитрий Иванович. Как проснулись, так попросили мадеры, потом с кухаркой и с соседским человеком всё занимались. Смешные такие... Однако характера очень хорошего. Я им чаю дал, обедать принес, ничего не хотели одни есть, всё меня приглашали. А уж на скрипке как играют, так это точно, что таких артистов у Излера мало. Такого человека можно держать. Как он «Вниз по матушке по Волге» нам сыграл, так точно как человек плачет. Слишком хорошо! Даже со всех этажей пришли люди к нам и сени слушать.

– Ну, а одел ты его? – перебил барин.

– Как же-с; я ему вашу ночную рубашку дал и свое пальто ему надел. Этому человеку можно помогать, точно, милый человек. – Захар улыбнулся. – Всё спрашивали меня, какого вы чина, имеете ли знакомства значительные? и сколько у вас душ крестьян?

– Ну, хорошо, только надо будет его найти теперь и вперед ему ничего не давать пить, а то ему еще хуже сделаешь.

– Это правда, – перебил Захар, – он, видно, слаб здоровьем, у нас такой же у барина был приказчик...

Делесов, уже давно знавший историю пившего запоем приказчика, не дал ее закончить Захару и, велел приготовить себе все для ночи, послал его отыскать и привести Альберта.

Он лег в постель, потушил свечу, но долго не мог заснуть, все думал об Альберте. «Хоть это все странным может показаться многим из моих знакомых, – думал Делесов, – но ведь так редко делаешь что-нибудь не для себя, что надо благодарить бога, когда представляется такой случай, и я не упущу его. Все сделаю, решительно все сделаю, что могу, чтобы помочь ему. Может быть, он и вовсе не сумасшедший, а только спился. Стоить это мне будет совсем не дорого: где один, там и двое сыты будут. Пускай поживет сначала у меня, а потом устроим ему место или концерт, стащим его с мели, а там видно будет».

Приятное чувство самодовольствия овладело им после такого рассуждения.

«Право, я не совсем дурной человек; даже совсем недурной человек, – подумал он. – Даже очень хороший человек, как сравню себя с другими...»

Он уже засыпал, когда звуки отворяемых дверей и шагов в передней развлекли его.

«Ну, обращаюсь с ним поостроже, – подумал он, – это лучше; и я должен это сделать».

Он позвонил.

– Что, привел? – спросил он у вошедшего Захара.

– Жалкой человек, Дмитрий Иванович, – сказал Захар, значительно покачав головой и закрыв глаза.

– Что, пьян?

– Очень слаб.

– А скрипка с ним?

– Принес, хозяйка отдала.

– Ну, пожалуйста, не пускай его теперь ко мне, уложи спать и завтра отнюдь не выпускай из дома.

Но еще Захар не успел выйти, как в комнату вошел Альберт.

V

– Вы уж спать хотите? – сказал Альберт, улыбаясь. – А я был там, у Анны Ивановны. Очень приятно повел вечер: музицировали, смеялись, приятное общество было. Позвольте мне выпить стакан чего-нибудь, – прибавил он, взявшись за графин с водой, стоявший на столике, – только не воды.

Альберт был такой же, как и вчера: та же красивая улыбка глаз и губ, тот же светлый, вдохновенный лоб и слабые члены. Пальто Захара пришлось ему как раз впору, и чистый, длинный, некрахмаленый воротник ночной рубашки живописно откидывался вокруг его тонкой белой шеи, придавая ему что-то особенно детское и невинное. Он присел на постель Делесова и молча, радостно и благодарно улыбаясь, посмотрел на него. Делесов посмотрел в глаза Альберта и вдруг снова почувствовал себя во власти его улыбки. Ему перестало хотеться спать, он забыл о своей обязанности быть строгим, ему захотелось, напротив, веселиться, слушать музыку и хоть до утра дружески болтать с Альбертом. Делесов велел Захару принести бутылку вина, папирос и скрипку.

– Вот это отлично, – сказал Альберт, – еще рано, будем музицировать, я вам буду играть, сколько хотите.

Захар с видимым удовольствием принес бутылку лафиту, два стакана, слабых папирос, которые курил Альберт, и скрипку. Но вместо того чтобы ложиться спать, как ему приказал барин, сам, закулив сигару, сел в соседнюю комнату.

– Поговоримте лучше, – сказал Делесов музыканту, взявшемуся было за скрипку.

Альберт покорно сел на постель и снова радостно улыбнулся.

– Ах да, – сказал он, вдруг стукнув себя рукой по лбу и приняв озабоченно-любопытное выражение. (Выражение лица его всегда предшествовало тому, что он хотел говорить.) – Позвольте спросить... – он приостановился немного, – этот господин, который был с вами там, вчера вечером... вы его называли N., он не сын знаменитого N.?

– Родной сын, – отвечал Делесов, никак не понимая, почему это могло быть интересно Альберту.

– То-то, – самодовольно улыбаясь, сказал он, – я сейчас заметил в его манерах что-то особенно аристократическое. Я люблю аристократов: что-то прекрасное и изящное видно в аристократе. А этот офицер, который так прекрасно танцует, – спросил он, – он мне тоже очень понравился, такой веселый и благородный. Он адъютант NN., кажется?

– Который? – спросил Делесов.

– Тот, который столкнулся со мной, когда мы танцевали. Он славный должен быть человек.

– Нет, он пустой малый, – отвечал Делесов.

– Ах, нет! – горячо заступился Альберт, – в нем что-то есть очень, очень приятное. И он славный музыкант, – прибавил Альберт, – он играл там из оперы что-то. Давно мне никто так не нравился.

– Да, он хорошо играет, но я не люблю его игры, – сказал Делесов, желая навести своего собеседника на разговор о музыке, – он классической музыки не понимает; а ведь Доницетти и Беллини – ведь это не музыка. Вы, верно, этого же мнения?

– О нет, нет, извините меня, – заговорил Альберт с мягким заступническим выражением, – старая музыка – музыка, и новая музыка – музыка. И в новой есть красоты необыкновенные: а «Сомнамбула»?! а финал «Лючии»?! а Chopin?! а Роберт?! Я часто думаю... – он приостановился, видимо, собирая мысли, – что ежели бы Бетховен был жив, ведь он бы плакал от радости, слушая «Сомнамбулу». Везде есть прекрасное. Я слышал в первый раз «Сомнамбулу», когда здесь были Виардо и Рубини, – это было вот что, – сказал он, блистая глазами и делая жест обеими руками, как будто вырывая что-то из своей груди. – Еще бы немного, то это невозможно бы было вынести.

– Ну, а теперь как вы находите оперу? – спросил Делесов.

– Бозио хороша, очень хороша, – отвечал он, – изящна необыкновенно, но тут не трогает, – сказал он, указывая на ввалившуюся грудь. – Для певицы нужна страсть, а у нее нет. Она радуется, но не мучает.

– Ну, а Лаблаш?

– Я его слышал еще в Париже, в «Севильском цирюльнике»; тогда он был единствен, а теперь он стар, – он не может быть артистом, он стар,

– Что ж, что стер, все-таки хорош в *morceaux d'ensemble*,¹ – сказал Делесов, всегда говоривший это о Лаблаше.

– Как что же, что стар? – возразил Альберт строго. – Он не должен быть стар. Художник не должен быть стар. Много нужно для искусства, но главное – огонь! – сказал он блистая глазами и поднимая обе руки кверху.

И действительно, страшный внутренний огонь горел во всей его фигуре.

– Ах, боже мой! – сказал он вдруг. – Вы не знаете Петрова – художника?

– Нет, не знаю, – улыбаясь, отвечал Делесов.

– Как бы я желал, чтобы вы с ним познакомились! Вы бы нашли удовольствие говорить с ним. Как он тоже понимает искусство! Мы с ним встречались прежде часто у Анны Ивановны, но она теперь за что-то рассердилась на него. А я очень желал бы, чтобы вы с ним познакомились. Он большей, большой талант.

– Что ж, он картины пишет? – спросил Делесов.

– Не знаю; нет, кажется, но он был художник Академии. Какие у него мысли! Когда он иногда говорит, то это удивительно. О, Петров большой талант, только он ведет жизнь очень веселую. Вот жалко, – улыбаясь, прибавил Альберт. Вслед за тем он встал с постели, взял скрипку и начал строить.

– Что, вы давно не были в опере? – спросил его Делесов.

Альберт оглянулся и вздохнул.

– Ах, я уж не могу, – сказал он, схватившись за голову. Он снова подсел к Делесову. – Я вам скажу, – проговорил он почти шепотом, – я не могу туда ходить, я не могу там играть, у меня ничего нет, ничего – платья нет, квартиры нет, скрипки нет. Скверная жизнь! скверная жизнь! – повторял он несколько раз. – Да и зачем мне туда ходить? Зачем это? не надо, – сказал он, улыбаясь. – Ах, «Дон-Жуан»!

И он ударил себя по голове.

– Так поедем когда-нибудь вместе, – сказал Делесов.

¹ ансамблях (франц.).

Альберт, не отвечая, вскочил, схватил скрипку и начал играть финал первого акта «Дон-Жуана», своими словами рассказывая содержание оперы.

У Делесова зашевелились волосы на голове, когда он играл голос умирающего командора.

– Нет, не могу играть нынче, – сказал он, кладя скрипку, – я много пил.

Но вслед за тем он подошел к столу, налил себе полный стакан вина, залпом выпил и сел опять на кровать к Делесову.

Делесов, не спуская глаз, смотрел на Альберта; Альберт изредка улыбался, и Делесов улыбался тоже. Они оба молчали; но между ними взглядом и улыбкой ближе и ближе устанавливались любовные отношения. Делесов чувствовал, что он все больше и больше любит этого человека, и испытывал непонятную радость.

– Вы были влюблены? – вдруг спросил он.

Альберт задумался на несколько секунд, потом лицо его озарилось грустной улыбкой. Он нагнулся к Делесову и внимательно посмотрел ему в самые глаза.

– Зачем вы это спросили у меня? – проговорил он шепотом. – Но я вам все расскажу, вы мне понравились, – продолжал он, посмотрев немного и оглянувшись. – Я не буду вас обманывать, я вам расскажу все, как было, сначала. – Он остановился, и глаза его странно, дико остановились. – Вы знаете, что я слаб рассудком, – сказал он вдруг. – Да, да, – продолжал он, – Анна Ивановна вам, верно, рассказывала. Она всем говорит, что я сумасшедший! Это неправда, она из шутки говорит это, она добрая женщина, а я, точно, не совершенно здоров стал с некоторого времени.

Альберт опять замолчал и остановившимися, широко открытыми глазами посмотрел в темную дверь.

– Вы спрашивали, был ли я влюблен? Да, я был влюблен, – прошептал он, поднимая брови. – Это случилось давно, еще в то время, когда я был при месте в театре. Я ходил играть вторую скрипку в опере, а она ездила в литерный бенуар с левой стороны.

Альберт встал и перегнулся на ухо Делесову.

– Нет, зачем называть ее, – сказал он. – Вы, верно, знаете ее, все знают ее. Я молчал и только смотрел на нее; я знал, что я бедный артист, а она аристократическая дама. Я очень знал это. Я только смотрел на нее и ничего не думал.

Альберт задумался, припоминая.

– Как это случилось, я не помню; но меня позвали один раз аккомпанировать ей на скрипке. Ну что я, бедный артист! – сказал он, покачивая головой и улыбаясь. – Но нет, я не умею рассказывать, не умею... – прибавил он, схватившись за голову. – Как я был счастлив!

– Что же, вы часто были у нее? – спросил Делесов.

– Один раз, один раз только... но я сам виноват был, я с ума сошел. Я бедный артист, а она аристократическая дама. Я не должен был ничего говорить ей. Но я сошел с ума, я сделал глупости. С тех пор для меня все кончилось. Петров правду сказал мне: лучше бы было видеть ее только в театре...

– Что же вы сделали? – спросил Делесов.

– Ах, постойте, постойте, я не могу рассказывать этого.

И, закрыв лицо руками, он помолчал несколько времени.

– Я пришел в оркестр поздно. Мы пили с Петровым этот вечер, и я был расстроен. Она сидела в своей ложе и говорила с генералом. Я не знаю, кто был этот генерал. Она сидела у самого края, положила руки на рампу; на ней было белое платье и перлы на шее. Она говорила с ним и смотрела на меня. Два раза она посмотрела на меня. Прическа у ней была вот этак; я не играл, а стоял подле баса и смотрел. Тут в первый раз со мной сделалось странно. Она улыбнулась генералу и посмотрела на меня. Я чувствовал, что она говорит обо мне, и вдруг я увидел, что я не в оркестре, а в ложе, стою с ней и держу ее за руку, за это место. Что это такое? – спросил Альберт, помолчав.

– Это живость воображения, – сказал Делесов.

– Нет, нет... да я не умею рассказывать, – сморщившись, отвечал Альберт. – Я уже и тогда был беден, квартиры у меня не было, и когда ходил в театр, иногда оставался ночевать там.

– Как? в театре? в темной пустой зале?

– Ах! я не боюсь этих глупостей. Ах, постойте. Как только все уходило, я шел к тому бенуару, где она сидела, и спал. Это была одна моя радость. Какие ночи я проводил там! Только один раз опять началось со мной. Мне ночью стало представляться много, но я не могу рассказать вам много. – Альберт, опустив зрачки, смотрел на Делесова. – Что это такое? – спросил он.

– Странно! – сказал Делесов.

– Нет, постойте, постойте! – Он на ухо шепотом продолжал: – Я целовал ее руку, плакал тут подле нее, я много говорил с ней. Я слышал запах ее духов, слышал ее голос. Она много сказала мне в одну ночь. Потом я взял скрипку и потихоньку стал играть. И я отлично играл. Но мне стало страшно. Я не боюсь этих глупостей и не верю; но мне стало страшно за свою голову, – сказал он, любезно улыбаясь и

дотрагиваясь рукою до лба, – за свой бедный ум мне стало страшно, мне казалось, что-то случилось у меня в голове. Может быть, это и ничего? Как вы думаете?

Оба помолчали несколько минут.

Und wenn die Wolken sie verhüllen,
Die Sonne bleibt doch ewig klar,² –

пропел Альберт, тихо улыбаясь. – Не правда ли? – прибавил он.

Ich auch habe gelebt und genossen,³ –

Ах! старик Петров как бы всё это растолковал вам.

Делесов молча, с ужасом смотрел на взволнованное и побледневшее лицо своего собеседника.

– Вы знаете «Юристен-вальцер»? – вдруг вскричал Альберт и, не дождавшись ответа, вскочил, схватил скрипку и начал играть веселый вальс. Совершенно забывшись и, видимо, полагая, что целый оркестр играет за ним, Альберт улыбался, раскачивался, передвигал ногами и играл превосходно.

– Э, будет веселиться! – сказал он, кончив и размахнув скрипкой.

– Я пойду, – сказал он, молча посидев немного, – а вы не пойдете?

– Куда? – с удивлением спросил Делесов.

– Пойдем опять к Анне Ивановне; там весело: шум, народ, музыка.

Делесов в первую минуту чуть было не согласился. Однако, опомнившись, он стал уговаривать Альберта не ходить нынче.

– Я бы на минуту.

– Право, не ходите.

Альберт вздохнул и положил скрипку.

– Так остаться?

Он посмотрел еще на стол (вина не было) и, пожелав покойной ночи, вышел.

Делесов позвонил.

– Смотри не выпускай никуда господина Альберта без моего спроса, – сказал он Захару.

VI

На другой день был праздник. Делесов, проснувшись, сидел у себя в гостиной за кофеем и читал книгу. Альберт в соседней комнате еще не шевелился.

Захар осторожно отворил дверь и посмотрел в столовую.

– Верите ль, Дмитрий Иванович, так на голом диване и спит! Ничего не хотел подостлать, ей-богу. Как дитя малое. Право, артист.

В двенадцатом часу за дверью послышалось кряхтение и кашель.

Захар снова вышел в столовую; и барин слышал ласковый голос Захара и слабый, просящий голос Альберта.

– Ну, что? – спросил барин у Захара, когда он вышел.

– Скучает, Дмитрий Иванович; умываться не хочет, пасмурный такой. Все просит выпить.

«Нет, уж если взялся, надо выдержать характер», – сказал себе Делесов.

И, не приказав давать вина, снова принялся за свою книгу, невольно, однако, прислушиваясь к тому, что происходило в столовой. Там ничего не двигалось, только изредка слышался грудной тяжелый кашель и плеванье. Прошло часа два. Делесов, одевшись, перед тем как выйти со двора, решил заглянуть к своему сожителю. Альберт неподвижно сидел у окна, опустив голову на руки. Он оглянулся. Лицо его было желто, сморщено и не только грустно, но глубоко несчастно. Он попробовал улыбнуться в виде приветствия, но лицо его приняло ещё более горестное выражение. Казалось, он готов был заплакать. Он с трудом встал и поклонился.

– Если бы можно рюмочку простой водки, – сказал он с просящим выражением, – я так слаб... пожалуйста!

– Кофей вас лучше подкрепит. Я бы вам советовал.

Лицо Альберта вдруг потеряло детское выражение; он холодно, тускло посмотрел в окно и слабо опустил на стул.

– Или позавтракать не хотите ли?

– Нет, благодарю, не имею аппетита.

2 Пусть облака окутывают солнце, оно все же остается вечно сияющим (нем.).

3 И я жил и наслаждался (нем.).

– Если вам захочется играть на скрипке, то вы мне не будете мешать, – сказал Делесов, кладя скрипку на стол.

Альберт с презрительной улыбкой посмотрел на скрипку.

– Нет; я слишком слаб, я не могу играть, – сказал он и отодвинул от себя инструмент.

После этого, что ни говорил Делесов, предлагая ему и пройтись, и вечером ехать в театр, он только покорно кланялся и упорно молчал. Делесов уехал со двора, сделал несколько визитов, обедал в гостях и перед театром заехал домой переодеться и узнать, что делает музыкант. Альберт сидел в темной передней и, облокотив голову на руки, смотрел в топившуюся печь. Он был одет опрятно, вымыт и причесан; но глаза его были тусклы, мертвы и во всей фигуре выражалась слабость и изнурение, еще большие, чем утром.

– Что, вы обедали, господин Альберт? – спросил Делесов.

Альберт сделал утвердительный знак головой и, взглянув в лицо Делесова, испуганно опустил глаза.

Делесову сделалось неловко.

– Я говорил нынче о вас директору, – сказал он, тоже опуская глаза, – он очень рад принять вас, если вы позволите себя послушать.

– Благодарю, я не могу играть, – проговорил себе под нос Альберт и прошел в свою комнату, особенно тихо затворив за собою дверь.

Через несколько минут замочная ручка так же тихо повернулась, и он вышел из своей комнаты со скрипкой. Злобно и бегло взглянув на Делесова, он положил скрипку на стул и снова скрылся.

Делесов пожал плечами и улыбнулся.

«Что ж мне еще делать? в чем я виноват?» – подумал он,

– Ну, что музыкант? – был первый вопрос его, когда он поздно возвратился домой.

– Плох! – коротко и звучно отвечал Захар. – Все вздыхает, кашляет и ничего не говорит, только раз пять принимался просить водки. Уж я ему дал одну. А то как бы нам его не загубить так, Дмитрий Иванович. Так-то приказчик...

– А на скрипке не играет?

– Не дотрогивается даже. Я тоже к нему ее приносил раза два, – так возьмет ее потихоньку и вынесет, – отвечал Захар с улыбкой. – Так пить не прикажете давать?

– Нет, еще подождем день, посмотрим, что будет. А теперь он что?

– Заперся в гостиной.

Делесов прошел в кабинет, отобрал несколько французских книг и немецкое Евангелие.

– Положи это завтра ему в комнату, да смотри не выпускай, – сказал он Захару.

На другое утро Захар донес барину, что музыкант не спал целую ночь: все ходил по комнатам и приходил в буфет, пытаясь отворить шкаф и дверь, но что все, по его старанию, было заперто. Захар рассказывал, что, притворившись спящим, он слышал, как Альберт в темноте сам с собой бормотал что-то и размахивал руками.

Альберт с каждым днем становился мрачнее и молчаливее. Делесова он, казалось, боялся, и в лице его выражался болезненный испуг, когда глаза их встречались. Он не брал в руки ни книг, ни скрипки и не отвечал на вопросы, которые ему делали.

На третий день пребывания у него музыканта Делесов приехал домой поздно вечером, усталый и расстроенный. Он целый день ездил, хлопотал по делу, казавшемуся очень простым и легким, и, как это часто бывает, решительно ни шагу не сделал вперед, несмотря на усиленное старание. Кроме того, заехав в клуб, он проиграл в вист. Он был не в духе.

– Ну, бог с ним совсем! – отвечал он Захару, который объяснил ему печальное положение Альберта. – Завтра добьюсь от него решительно: хочет ли он или нет оставаться у меня и следовать моим советам? Нет – так и не надо. Кажется, что я сделал все, что мог.

«Вот делай добро людям, – думал он сам с собой. – Я для него стесняюсь, держу у себя в доме это грязное существо, так что утром принять не могу незнакомого человека, хлопочу, бегаю, а он на меня смотрит, как на какого-то злодея, который из своего удовольствия запер его в клетку. А главное, сам для себя и шагу не хочет сделать. Так они и все (это «все» относилось вообще к людям и особенно к тем, до которых у него нынче было дело). И что с ним делается теперь? О чем он думает и грустит? Грустит о разврате, из которого я его вырвал? Об унижении, в котором он был? О нищете, от которой я его спас? Видно, уж он так упал, что тяжело ему смотреть на честную жизнь...»

«Нет, это был детский поступок, – решил сам с собою Делесов. – Куда мне браться других исправлять, когда только дай бог с самим собою сладить». Он хотел было сейчас отпустить его, но, подумав немного, отложил до завтра.

Ночью Делесова разбудил стук упавшего стола в передней и звук голосов и топота. Он зажег свечу и с удивлением стал прислушиваться...

– Погодите, я Дмитрию Ивановичу скажу, – говорил Захар; голос Альберта бормотал что-то горячо и несвязно. Делесов вскочил и со свечою выбежал в переднюю. Захар, в ночном костюме, стоял против двери, Альберт, в шляпе и альмавиве, отталкивал его от двери и слезливым голосом кричал на него:

– Вы не можете не пустить меня! У меня паспорт, я ничего не унес у вас! Можете обыскать меня! Я к полицмейстеру пойду!

– Позвольте, Дмитрий Иванович! – обратился Захар к барину, продолжая спиной защищать дверь. – Они ночью встали, нашли ключ в моем пальто и выпили целый графин сладкой водки. Это разве хорошо? А теперь уйти хотят. Вы не приказали, потому я и не могу пустить их.

Альберт, увидав Делесова, еще горячее стал приступать к Захару.

– Не может меня никто держать! не имеет права! – кричал он, все больше и больше возвышая голос.

– Отойди, Захар, – сказал Делесов. – Я вас держать не хочу и не могу, но я советовал бы вам остаться до завтра, – обратился он к Альберту.

– Никто меня держать не может! Я к полицмейстеру пойду! – все сильнее и сильнее кричал Альберт, обращаясь только к Захару и не глядя на Делесова. – Караул! – вдруг завопил он неистовым голосом.

– Да что же вы кричите так-то? ведь вас не держат, – сказал Захар, отворяя дверь.

Альберт перестал кричать. «Не удалось? Хотели уморить меня. Нет!» – бормотал он про себя, надевая калоши. Не простившись и продолжая говорить что-то непонятное, он вышел в дверь. Захар посветил ему до ворот и вернулся.

– И слава богу, Дмитрий Иванович! а то долго ли до греха, – сказал он барину, – и теперь серебро поверить надо.

Делесов только покачал головой и ничего не отвечал. Ему живо вспомнились теперь два первые вечера, которые он провел с музыкантом, вспомнились последние печальные дни, которые по его вине провел здесь Альберт, и главное, он вспомнил то сладкое смешанное чувство удивления, любви и сострадания, которое возбудил в нем с первого взгляда этот странный человек, и ему стало жалко его. «И что-то с ним будет теперь? – подумал он. – Без денег, без теплого платья, один посреди ночи...» Он хотел было уже послать за ним Захара, но было поздно.

– А холодно на дворе? – спросил Делесов.

– Мороз здоровый, Дмитрий Иванович, – отвечал Захар. – Я забыл вам доложить, до весны еще дров купить придется.

– А как же ты говорил, что останутся?

VII

На дворе действительно было холодно, но Альберт не чувствовал холода, – так он был разгорячен выпитым вином и спором.

Выйдя на улицу, он оглянулся и радостно потер руки. На улице было пусто, но длинный ряд фонарей еще светил красными огнями, на небе было ясно и звездно. «Что?» – сказал он, обращаясь к светившемуся окну в квартире Делесова; и, засунув руки под пальто в карманы панталон и перегнувшись вперед, Альберт тяжелыми и неверными шагами пошел направо по улице. Он чувствовал в ногах и желудке чрезвычайную тяжесть, в голове его что-то шумело, какая-то невидимая сила бросала его из стороны в сторону, но он все шел вперед по направлению к квартире Анны Ивановны. В голове его бродили странные, несвязные мысли. То он вспоминал последний спор с Захаром, то почему-то море и первый свой приезд на пароходе в Россию, то счастливую ночь, проведенную с другом в лавочке, мимо которой он проходил; то вдруг знакомый мотив начинал петь в его воображении, и он вспоминал предмет свози страсти и страшную ночь в театре. Но, несмотря на несвязность, все эти воспоминания с такой яркостью представлялись его воображению, что, закрыв глаза, он не знал, что было больше действительность: то, что он делал, или то, что он думал? Он не помнил и не чувствовал, как переставлялись его ноги, как, шатаясь, он толкался об стену, как он смотрел вокруг себя и как переходил с улицы на улицу. Он помнил и чувствовал только то, что, причудливо сменяясь и перепутываясь, представлялось ему. Проходя по Малой Морской, Альберт споткнулся и упал. Очнувшись на мгновение, он увидел перед собой какое-то громадное, великолепное здание и пошел дальше. На небе не было видно ни звезд, ни зари, ни месяца, фонарей тоже не было, но все предметы обозначались ясно. В окнах здания, возвышавшегося в конце улицы, светились огни, но огни эти колебались, как отражение. Здание все ближе и ближе, яснее и яснее выростало перед Альбертом. Но огни исчезли, как только Альберт вошел в широкие двери. Внутри было темно. Одинокие шаги звучно раздавались под сводами, и какие-то тени, скользя, убегали при его приближении. «Зачем я пошел сюда?» – подумал Альберт; но какая-то

непреодолимая сила тянула его вперед к углублению огромной залы... Там стояло какое-то возвышение, и вокруг него молча стояли какие-то маленькие люди. «Кто это будет говорить?» – спросил Альберт. Никто не ответил, только один указал ему на возвышение. На возвышении уже стоял высокий худой человек с щетинистыми волосами и в пестром халате. Альберт тотчас узнал своего друга Петрова. «Как странно, что он здесь!» – подумал Альберт. «Нет, братья! – говорил Петров, указывая на кого-то. – Вы не поняли человека, жившего между вами; вы не поняли его! Он не продажный артист, не механический исполнитель, не сумасшедший, не потерянный человек. Он гений, великий музыкальный гений, погибший среди вас незамеченным и нецененным». Альберт тотчас же понял, о ком говорил его друг; но, не желая стеснять его, из скромности опустил голову.

«Он, как соломинка, сгорел весь от того священного огня, которому мы все служим, – продолжал голос, – но он исполнил все то, что было вложено в него богом; за то он и должен называться великим человеком. Вы могли презирать его, мучить, унижать, – продолжал голос громче и громче, – а он был, есть и будет неизмеримо выше всех вас. Он счастлив, он добр. Он всех одинаково любит или презирает, что все равно, а служит только тому, что вложено в него свыше. Он любит одно – красоту, единственно несомненное благо в мире. Да, вот кто он такой! Ниц падайте все перед ним, на колена!» – закричал он громко.

Но другой голос тихо заговорил из противоположного угла залы. «Я не хочу падать перед ним на колена, – говорил голос, в котором Альберт тотчас узнал голос Делесова. – Чем же он велик? И зачем нам кланяться перед ним? Разве он вел себя честно и справедливо? Разве он принес пользу обществу? Разве мы не знаем, как он брал взаймы деньги и не отдавал их, как он унес скрипку у своего товарища артиста и заложил ее?.. («Боже мой! как он это все знает!» – подумал Альберт, еще ниже опуская голову.) Разве мы не знаем, как он льстил самым ничтожным людям, льстил из-за денег? – продолжал Делесов. – Не знаем, как его выгнали из театра? Как Анна Ивановна хотела в полицию послать его?» («Боже мой! это все правда, но заступись за меня, – проговорил Альберт, – ты один знаешь, почему я это делал».)

«Перестаньте, стыдитесь, – заговорил опять голос Петрова. – Какое право имеете вы обвинять его? Разве вы жили его жизнью? Испытывали его восторги? («Правда, правда!» – шептал Альберт.) Искусство есть высочайшее проявление могущества в человеке. Оно дается редким избранным и поднимает избранника на такую высоту, на которой голова кружится и трудно удержаться здравым. В искусстве, как во всякой борьбе, есть герои, отдавшиеся все своему служению и гибнувшие, не достигнув цели».

Петров замолчал, а Альберт поднял голову и громко закричал: «Правда! правда!» Но голос его замер без звука.

«Не до вас это дело, – строго обратился к нему художник Петров. – Да, унижайте, презирайте его, – продолжал он, – а из всех нас он лучший и счастливейший!»

Альберт, с блаженством в душе слушавший эти слова, не выдержал, подошел к другу и хотел поцеловать его.

«Убирайся, я тебя не знаю, – отвечал Петров, – проходи своей дорогой, а то не дойдешь...»

– Вишь, тебя разобрало! не дойдешь, – прокричал будочник на перекрестке.

Альберт приостановился, собрал все силы и, стараясь не шататься, повернул в переулок.

До Анны Ивановны оставалось несколько шагов. Из сеней ее дома падал свет на снег двора, и у калитки стояли сани и кареты.

Хватаясь охолодевшими руками за перила, он взбежал на лестницу и позвонил.

Заспанное лицо служанки высунулось в отверстие двери и сердито взглянуло на Альберта. «Нельзя! – прокричала она, – не ведено пускать», – и захлопнула отверстие. На лестницу доходили звуки музыки и женских голосов. Альберт сел на пол, прислонился головой к стене и закрыл глаза. В то же мгновение толпы несвязных, но родственных видений с новой силой обступили его, приняли в свои волны и понесли куда-то туда, в свободную и прекрасную область мечтания. «Да, он лучший и счастливейший!» – невольно повторялось в его воображении. Из двери слышались звуки польки. Эти звуки говорили тоже, что он лучший и счастливейший! В ближайшей церкви слышался благовест, и благовест этот говорил: «Да, он лучший и счастливейший». «Но пойду опять в залу, – подумал Альберт. – Петров еще много должен сказать мне». В зале уже никого не было, и вместо художника Петрова на возвышенье стоял сам Альберт и сам играл на скрипке все то, что прежде говорил голос. Но скрипка была странного устройства: она вся была сделана из стекла. И ее надо было обнимать обеими руками и медленно прижимать к груди, для того чтобы она издавала звуки. Звуки были такие нежные и прелестные, каких никогда не слыхал Альберт. Чем крепче прижимал он к груди скрипку, тем отраднее и слаще ему становилось. Чем громче становились звуки, тем шибче разбегались тени и больше освещались стены залы прозрачным светом. Но надо было очень осторожно играть на скрипке, чтобы не раздавить ее. Альберт играл на стеклянном инструменте очень осторожно и хорошо. Он играл такие

вещи, которых, он чувствовал, что никто никогда больше не услышит. Он начинал уже уставать, когда другой дальний глухой звук развлек его. Это был звук колокола, но звук этот произносил слово: «Да, – говорил колокол, далеко и высоко гудя где-то. – Он вам жалок кажется, вы его презираете, а он лучший и счастливейший! Никто никогда больше не будет играть на этом инструменте».

Эти знакомые слова показались внезапно так умны, так новы и справедливы Альберту, что он перестал играть и, стараясь не двигаться, поднял руки и глаза к небу. Он чувствовал себя прекрасным и счастливым. Несмотря на то, что в зале никого не было, Альберт выпрямил грудь и, гордо подняв голову, стоял на возвышенье так, чтобы все могли его видеть. Вдруг чья-то рука слегка дотронулась до его плеча; он обернулся и в полусвете увидел женщину. Она печально смотрела на него и отрицательно покачала головой. Он тотчас же понял, что то, что он делал, было дурно, и ему стало стыдно за себя. «Куда же?» – спросил он ее. Она еще раз долго, пристально посмотрела на него и печально наклонила голову. Она была та, совершенно та, которую он любил, и одежда её была та же, на полной белой шее была нитка жемчугу, и прелестные руки были обнажены выше локтя. Она взяла его за руку и повела вон из залы. «Выход с той стороны», – сказал Альберт; но она, не отвечая, улыбнулась и вывела его из залы. На пороге залы Альберт увидел луну и воду. Но вода не была внизу, как обыкновенно бывает, а луна не была наверху: белый круг в одном месте, как обыкновенно бывает. Луна и вода были вместе и везде – и наверху, и внизу, и сбоку, и вокруг их обоих. Альберт вместе с нею бросился в луну и воду и понял, что теперь можно ему обнять ту, которую он любил больше всего на свете; он обнял ее и почувствовал невыносимое счастье. «Уж не во сне ли это?» – спросил он себя; но нет! это была действительность, это было больше, чем действительность: это было действительность и воспоминание. Он чувствовал, что то невыразимое счастье, которым он наслаждался в настоящую минуту, прошло и никогда не воротится. «О чем же я плачу?» – спросил он у нее. Она молча, печально посмотрела на него. Альберт понял, что она хотела сказать этим. «Да как же, когда я жив», – проговорил он. Она, не отвечая, неподвижно смотрела вперед. «Это ужасно! Как растолковать ей, что я жив», – с ужасом подумал он. «Боже мой! да я жив, поймите меня!» – шептал он. «Он лучший и счастливейший», – говорил голос. Но что-то все сильнее и сильнее давило Альберта. Было ли то луна и вода, ее объятия или слезы – он не знал, но чувствовал, что не выскажет всего, что надо, и что скоро всё кончится.

Двое гостей, выходявшие от Анны Ивановны, наткнулись на растянувшегося на пороге Альберта. Один из них вернулся и вызвал хозяйку.

– Ведь это безбожно, – сказал он, – вы могли этак заморозить человека.

– Ах, уж этот мне Альберт, – вот где сидит, – отвечала хозяйка. – Аннушка! положите его где-нибудь в комнате, – обратилась она к служанке.

– Да я жив, зачем же хоронить меня? – бормотал Альберт, в то время как его, бесчувственного, вносили в комнаты.

28 февраля 1858